

Компаративные подходы к изучению границ

Перспектива историка

Пол Верт

(профессор истории Невадского Университета
в городе Лас-Вегас; PhD)

1. Почему современного историка могут интересовать границы и приграничные регионы России? Есть ли в них что-то особенно значимое?

Эта тема может интересовать историков и других ученых по разным причинам, которые я постараюсь здесь перечислить в краткой форме. Во-первых, буквально сейчас (в конце февраля 2025 года), да и вообще в течение последнего десятилетия, стоит открытым вопрос о фактических территориальных границах России. Как утверждает наша профессиональная ассоциация в Америке (American Historical Association), все имеет свою историю. Вопрос о территориальном размере России в разных ее проявлениях (Московия, Российская империя, СССР и нынешняя Российская Федерация) не составляет исключения. Я как раз попытался изложить эту историю в сжатой форме в книге под названием «Как Россия стала большой»¹.

Во-вторых, если учесть, что Россия одно время распространялась на три континента, можно сказать, что история ее границ составляет существенную часть общей, глобальной истории. Ведь даже сейчас одна сухопутная граница России тянется на 20.000 километров, от Баренцева моря до Японского. На этом протяжении находится 14 соседей. Это значит, что границы России фактически касаются значительной части земного шара, иными словами, целого ряда других стран, от Кореи и Китая до Финляндии и Норвегии. В истории были и другие соседи — политические формации, которые теперь не существуют (типа Великого княжества Литовского и Австро-Венгрии). Изучение истории российских границ, соответственно, приводит исследователя в область «переплетенной истории» (“entangled history”). Это понятие подразумевает, что судьба каждой страны существует не отдельно от других стран, а в тесной связи. Речь идет о дипломатических отношениях (причем не только между столицами, но и между местными представителями государственной власти), об эко-

1 Werth P. How Russia Got Big: A Territorial History. London: Bloomsbury Publishers, 2025.

номических контактах (и в легальной, и в контрабандной форме), о пропаганде и других формах политической коммуникации через границы, о сотрудничестве, с одной стороны, и чувствах угрозы и уязвимости — с другой.

В-третьих, изучение истории границ поднимает важные вопросы о суверенитете, то есть о попытках государства или правителя предъявлять и осуществлять претензии на исключительную власть над тем или иным пространством. Пожалуй, до современного периода приграничье остается тем местом, где суверенитет как бы истощается и постепенно заканчивается; а в современный период это то место, где государство или правитель стремится проявлять свою власть еще сильнее, в более видной форме, чем внутри страны — или ради поддержания власти среди собственных граждан, или ради попытки отпугивать соседей, которые иначе могли бы претендовать на его территорию или ресурсы. В этом отношении я нахожу особенно интересными исследования Лорен Бентон (о суверенитете в имперских контекстах) и Джордана Бранча (о «карографическом государстве», выражающем новые претензии в области суверенитета благодаря развитию картографической науки)².

В-четверых, мне кажется, что изучение границ России позволяет обратить внимание на множество акторов и социальных групп, принимавших участие в формировании страны. Можно сказать, что у границы было много создателей: армия, завоевавшая новые территории; дипломаты, заключившие трактаты и коммерческие договоры; торговцы, пересекающие границы (в том числе контрабандисты), крестьяне и рабочие, переходящие границы для заработка; кочевники, ищащие пастища для своих животных на той или иной стороне границы в зависимости от времени года и т.д. и т.п. На границе, можно сказать, находился целый мир, включавший разных людей.

Последнее замечание: меня сильно заинтересовал вопрос об инфраструктуре на границе. Частично это вопрос возник у меня после чтения книги С.Дж. Алвареса об истории строительных проектов и об их влиянии на окружающую среду на границе Мексики с США³. Мое личное посещение границы Азербайджаном с Ираном (это, конечно, старая советская граница с южным соседом), где я увидел ворота и проволоку вдоль реки Аракс, способствовало дальнейшим размышлениям на эти темы. Находясь в архивах Южного Кавказа, я, между прочим, обнаруживал материалы о необходимости (и трудностях, и стоимости) строить колодцы в так называемой Муганской степи на границе Российской империи с Персией: до известной степени граница как таковая не существовала без людей, которые обслуживали бы ее, патрулировали и т.д. Люди могли там находиться летом только благодаря колодцам⁴.

Подытоживая, можно сказать, что границы связаны с целым рядом вопросов и множеством самых разных людей и выдвигают историю России в сторону глобальной истории.

² Benton L. A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; Branch J. The Cartographic State: Maps, Territory, and the Origins of Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

³ Alvarez C.J. Border Land, Border Water: A History of Construction on the US-Mexico Divide. Austin: University of Texas Press, 2019.

⁴ Речь идет об архивном деле из Исторического архива Республики Грузии «О проведении через Муганскую степь кордонной линии и он открытии в степи колодцев» (Ф. 4. Оп. 6. Д. 75).

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно их изучать? Чем может помочь историку опыт антропологов, этнографов и других специалистов? Есть ли в этом отношении принципиальная разница между изучением приграничья и других регионов?

Источники для изучения границ могут быть разными. Для начала возьмем политические договоры. Мне кажется, очень интересным проектом могло бы быть изучение того, как границы определяются в разных трактатах в течение истории. Какие именно термины применяются? Каков уровень точности определения границ в таких документах? Если трактаты существуют в нескольких версиях, как отличаются ключевые понятия на разных языках?

Архивные документы представляют особый интерес, поскольку в них возникают неожиданные вопросы, например про колодцы. Я имел возможность работать в архивах всех трех республик Южного Кавказа и встречал в них удивительный набор акторов (не исключая и животных), имеющих отношение к границе; множество товаров, пересекающих границы; и важные элементы инфраструктуры — колодцы, мосты, паромы и т.п. Для меня открылся целый мир на южной границе Российской империи.

Работа антропологов, безусловно, имеет значение и для исторического изучения границ. Начнем с того, что некоторые из ключевых исследований по этому вопросу принадлежат перу антропологов, например Матийс Пелкманс (об аджарском селении Сарпи на границе с Турцией) и Мадлен Ривз (о границе в современной Ферганской долине). Первый настаивает на взаимосвязи между твердостью и неопределенностью границ и показывает, как идея границы продолжала существовать в сознании местных жителей даже после того, как она открылась в начале 1990-х годов. Последняя, в свою очередь, изучает формирование новой границы в социальных практиках между Кыргызстаном и двумя его соседями⁵. Новейшие антропологические исследования развиваю эту тему дальше. Например, в работе Франка Билле и Кэролайн Хэмфри подчеркиваются различия на границе между Россией и Китаем, которая разделяет, как утверждают авторы, не только две страны, но и два совершенно разных мира. На мой взгляд, антропология раскрывает прежде всего субъективное восприятие границы местными жителями. Это существенно важный аспекты проблемы⁶.

3. С какими странами можно сравнить Российскую империю в смысле специфики границ и приграничных регионов и что это сопоставление может прояснить в российской истории?

Если учесть размер России, особенно в ее современном виде (начиная, пожалуй, с XVII века), эта страна во многом является уникальной. В книге «Как Россия

5 Pelkmans M. Defending the Border: Identity, Religion, and Modernity in the Republic of Georgia. Ithaca: Cornell University Press, 2006; Reeves M. Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2014.

6 Billé F., Humphrey C. On the Edge: Life Along the Russia-China Border. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. См. мою рецензию на эту книгу: Ab Imperio. 2022. No. 3. P. 53–59.

стала большой» я привожу следующую таблицу, которая указывает на исключительный характер России:

Территория	Площадь (кв. км)
Российская империя (1898 год)	22,430,000
СССР (1989 год)	22,402,000
Российская Федерация (до 2014 года)	17,098,000
Плутон	16,648,000
Канада (2022 год)	9,985,000

Вряд ли имеется другая страна, которая росла бы на 4 квадратных километра в час в течение 600 лет! С другой стороны, конечно, другие большие страны (Китай, США, Британская империя в XIX веке) разделяют с Россией определенные черты — имперскость (до той или иной степени), большое количество соседей (например у Китая), длина границы, которая при этом проходит через множество разных ландшафтов, от высоких гор до равнин на уровне моря. Сверх того, если принять во внимание, что каждое приграничье составляет собственный «микромир» (с известными природными условиями, народами и языками, инфраструктурой и правилами оформления документов), возможности для сравнения становятся бесконечными.

Здесь, однако, я бы обратил внимание читателя не только на сравнение, но и на «переплетенную историю», о которой речь шла выше. С этой точки зрения можно, например, изучать приграничные города и поселки на той (нероссийской) стороне границы (см., например, книгу Бёррис Кузмани о Бродах в австрийской Галиции) или пары приграничных поселений, разделявшихся границей⁷. В эту группу можно также включить недавнюю книгу Сёrena Урбански про российско-китайскую границу⁸. Некоторые исследователи даже выделяют те места, где встречаются *три* государства⁹. Нам должны быть интересны и исследования, которые описывают приграничные проблемы с точки зрения соседних государств и их населения¹⁰.

Короче говоря, сопоставление позволяет ставить новые вопросы, тогда как сосредоточение на «переплетенной истории» может показать через изучение приграничных регионов, что Россия развивалась не отдельно от других стран, но вместе с ними.

7 Kuzmany B. Brody: A Galician Border City in the Long Nineteenth Century. Leiden: Brill, 2017; Adesgruber P., Cohen L., Kuzmany B. Getrennt und doch verbunden: Grenzstädte zwischen Österreich und Russland, 1772–1918. Wien: Böhlau Verlag, 2011.

8 Urbansky S. Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border. Princeton: Princeton University Press, 2020.

9 Можно указать на книгу Алиссы Парк про регион Дальнего Востока, где соединяются Китай, Корея и Россия: Park A. Sovereignty Experiments: Korean Migrants and the Building of Borders in Northeast Asia, 1860–1945. Ithaca: Cornell University Press, 2019; а также на исследование Франциски Экселер (Franziska Exeler) «Border Regimes» про границу Австрии, Пруссии и России (работа над ней продолжается). См. мой отзыв: Werth P. Russia's Borders in East and West // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2021. Vol. 22. No. 3. P. 623–644.

10 См. например: Gözde Y.C. Loyalty and Citizenship: Ottoman Perspectives on its Russian Border Region, 1878–1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Выше я уже назвал несколько работ, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. На русском языке можно также указать на исследование Адриана Селина о границе со Швецией в XVII веке, работу А.И. Рупасова и А.Н. Чистикова про межвоенную границу с Финляндией, а также полезный обзор менявшейся российской границы на Кавказе, составленный Е.В. Архиповой¹¹.

Особое место, на мой взгляд, занимает удивительная книга Чарлза Майера «Попав в пределы» (*“Once Within Borders”*). Такую книгу смог написать только очень опытный историк, накопивший огромный опыт в течение 50 лет. Это «необыкновенная история», как Майер описывает книгу, характеризует «историю организации поверхности земли посредством права, войны, торговли и технологических изменений», а также «глубинную основу, которая способствует существованию государств и экономик»¹². Как показывает Майер, многое в наших учреждениях и мышлении зависит от концепций территории и границ. Для размышления о целом ряде вопросов эта книга не знает себе равных.

Что касается будущего, то следует указать на проект журнала «Критика», посвященный пограничным районам в контексте войн (в этой связи выйдет, по всей вероятности, особый номер журнала)¹³, а также сборник материалов и статей, которые готовят к печати моя швейцарская коллега Шарлотте Хенце (*Charlotte Henze*) и автор этих строк. В ней появится ряд работ ведущих молодых ученых и специалистов старшего поколения про российские границы в разные периоды и в разных частях страны¹⁴.

Судя по всему, можно ожидать растущего количества работ по вопросу об истории современных границ России. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь сможет создать исследование, в котором синтезированы все эти работы, то есть общую историю границ Московии, Российской империи, СССР и Российской Федерации. Это, впрочем, всего лишь надежда.

¹¹ Селин А. Русско-шведская граница (1617–1700 гг.): Формирование, функционирование, наследие. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2015; Рупасов А.И., Чистиков А.Н. Советско-финляндская граница, 1918–1938 гг. СПб.: Аврора, 2016; Архипова Е.В. Государственные границы России на Кавказе: Формирование и современные проблемы безопасности. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014.

¹² Maier C. Once Within Borders: Territories of Power, Wealth, and Belonging since 1500. Harvard: Harvard University Press, 2016. P. 6.

¹³ “A World in Motion: Eurasian Border Areas in Times of War and Postwar”.

¹⁴ Предполагаемое название нашего предприятия — “Russia and Its Limits: Eurasian Borders in History”. Кроме самих редакторов, в нем принимают участие Эрл Джошуа Ходил (Earl Joshua Hodil), Адриан Селин, Эрика Монахан (Erika Monahan), Колум Лекей (Colum Leckey), Франциска Экселер (Franziska Exeler), Роман Ошаров, Ф. Беньямин Шенк (F. Benjamin Schenk), Андрей Шляхтер (Andrey Shyakhter), Штефан Риндлисбахер (Stephan Rindlisbacher), Гриффин Крич (Griffin Creech), Харрисон Кинг (Harrison King), Сабин Дюллен (Sabine Dullin) и Эрик Скотт (Erik Scott).

Уиллард Сандерленд

(профессор истории Университета Цинциннати; PhD)

1. Почему современного историка могут интересовать границы и приграничные регионы России? Есть ли в них что-то особенно значимое?

Военные конфликты на постсоветском пространстве последних лет невозможно понять без размышлений о том, в каких регионах они происходят, где эти регионы начинаются и кончаются, кто и по какому праву на них претендует и как они связаны с историческими и современными концепциями национальности и империи.

Это напоминает о том, что кажущиеся сугубо академическими вопросы, такие как: «что такое регион?» и «где его границы?», — могут оказаться вопросами жизни и смерти.

Приграничные регионы действительно своеобразны. Часто они представляют собою места кросс-культурных пересечений и государственных экспериментов, а также социальные пространства, позволяющие определять «нас» и «их». Эти пространства часто воспринимаются как уязвимые или, напротив, как открывающие новые возможности. В национальных или/и имперских границах есть нечто крайнее, что определяет, как и местные, и неместные жители воспринимают регионы, находящиеся на внешних границах государства.

В то же время своеобразие приграничных регионов не стоит преувеличивать.

Во-первых, не все государственные границы функционируют схожим образом или значат одно и то же, так что было бы упрощением предполагать, будто любые «пограничные регионы» представляют некий единый тип пограничья.

Во-вторых, реальные и воображаемые составляющие регионов часто не зависят от того, как этот регион соотносится с государственным пространством. География, демография, культура, идентичность, набор отношений к земле, к правительству, а в Новое время к нации — все эти элементы встречаются где угодно. Они далеко не обязательно начинают работать иначе благодаря присутствию границы.

Наконец, в случае России относительное расстояние от центра и близость к нерусским народам часто были не менее важны для регионального своеобразия. Неудивительно, что областники XIX века, такие как Афанасий Щапов или Николай Костомаров, мыслили в схожих категориях. Щапов, известность к которому пришла в то время, когда он жил и работал в Среднем Поволжье, был родом из Иркутской губернии, а Костомаров вырос в Воронежской губернии, учился в Харькове и стал страстным защитником малороссийской, то есть украинской, культуры, которую он называл «южнорусский элемент». Однако их взгляды во многом совпадали.

Лучше всего это выразил Щапов в своей первой лекции в Казанском университете, состоявшейся в ноябре 1860 года: «Скажу наперед: не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на кафедру русской истории»¹⁵.

15 Щапов А.П. Сочинения: В 3 т. Дополнительный том к изданию 1905–1908 гг. Иркутск: Восточносибирское областное издательство, 1937. С. IV.

Ему была ясна принципиальная разница — центр представлял власть, направленную сверху вниз, тогда как регионы — наоборот; центр представлял государство, а регионы — народ. И студенты собирались на лекции Щапова, как будто он рок-звезда, а не профессор-историк, ведь он был для них глотком свежего воздуха.

По сути, я хочу сказать, что регионы тяжело разделить по категориям — приграничные, внутренние и так далее — поскольку они существуют не только на земле, но и в сознании. Регионы всегда изменчивы, всегда связаны с конкурирующими определениями и ассоциациями. Присутствие государственной границы в этом отношении меняет немного.

В конце концов, граница — это просто-напросто линия. В некоторых исторических контекстах она может быть очень твердой, практически непреодолимой, а в других — мягкой почти до прозрачности. Но каковы бы ни были качества этой линии, как максимум она отмечает пределы государства, а не региона.

На самом деле, если подумать об этом с региональной точки зрения, более верно воспринимать границы как не столько линии, сколько зоны. Представьте два соседних государства в виде кругов на диаграмме Венна. Они не разделены линией. Напротив, граница — это зона их пересечения.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно их изучать? Чем может помочь историку опыт антропологов, этнографов и других специалистов? Есть ли в этом отношении принципиальная разница между изучением приграничья и других регионов?

Нельзя писать историю без знания других дисциплин. Политология, антропология, социология, экономика, литературоведение, лингвистика, философия, в некоторых случаях археология — историку нужны они все. Любая хорошая история к тому же компаративна. Я не хочу сказать, что в любой книге или статье мы должны открыто сравнивать один объект с другим; скорее историки должны всегда держать сопоставительные навыки в тонусе, рассматривая конкретные вопросы в более общем контексте.

Региональная история для этого хорошо подходит. Мы задаемся, в сущности, компаративными вопросами: откуда происходят регионы России, как и кем они определяются, каков региональный образ жизни, как он меняется со временем, как взаимодействуют регионы внутри и вне государства?

В своей знаменитой речи на VI Международном конгрессе исторических наук в Осло в 1928 году Марк Блок выразил надежду, что настал момент «перестать бесконечно говорить о национальной истории»¹⁶. С тех пор прошло почти 100 лет, но наконец-то желание Блока сбылось. Сегодня можно назвать множество примеров хорошей сравнительной национальной и имперской, а в последнее время также и транснациональной и трансимперской истории. Однако еще есть место для более подробной сравнительной региональной истории.

16 Bloch M. Pour une histoire comparée des sociétés européennes // Revue de synthèse historique. 1928. № 46. Р. 49 (рус. пер.: Блок М. К сравнительной истории европейских обществ / Пер. с фр. И.К. Страф // Одиссей. Человек в истории. Русская культура как исследовательская проблема. 2001. Вып. 13. С. 89).

Что касается источников по региональной истории, то они так же богаты и многообразны, как и у любой другой темы. Это государственные документы, религиозные материалы, деловые записи, научные отчеты, карты, литературные произведения, личные письма, фольклор, кино, искусство, архитектура, устные истории.

У пограничных регионов нет собственной, отдельной источниковой базы, хотя убедительная история пограничного региона требует использовать взгляд со всех сторон, что предполагает в случае необходимости работу с широким спектром материалов на разных языках.

Два недавних примера такого типа убедительной истории пограничных регионов — это исследование Эндрю Робартса, посвященное движению населения и общественному здоровью в российско-ottomанском мире Черноморья, и работа Сёrena Урбански о создании российско-китайской границы по реке Аргун¹⁷.

3. С какими странами можно сравнить Российскую империю в смысле специфики границ и приграничных регионов и что это сопоставление может прояснить в российской истории?

Это сложный вопрос, на который нет простого ответа. Российская империя обладала сложными и разнообразными границами и пограничными регионами, которые принципиально изменялись со временем, но то же самое характерно и для других империй других периодов.

Как же провести самое полезное сопоставление?

Не просто проводя общие параллели между Российской империей и очевидно аналогичными случаями — такими, как династические континентальные империи Габсбургов, Ottomanov и Цинь, — но также выделяя конкретные исторические эпизоды, акторов и имперские практики, такие как колонизация или миссионерская политика, в разнообразных регионах и описывая разнообразные имперские контексты, чтобы обнаружить значимые сходства и различия.

Используя этот подход, мы скоро обнаружим, что описываем разные аспекты жизни в российском имперском пространстве в контексте бесчисленных государств далекого и недавнего прошлого, включая не только названные выше империи, но и многие другие — от Римской, Ассирийской, Монгольской, Могольской, Испанской, Британской до датско-норвежского государства и США.

Разумеется, этот подход подразумевает, что мы не можем предложить четкую и чистую картину того, что Александр Эткинд* назвал «имперским опытом России»¹⁸ (лично я не уверен, что существует некий единый российский имперский опыт). В то же время есть и хорошая сторона: благодаря этому подходу мы можем уверенно утверждать, что Российская империя не была исключительной.

17 См.: *Robarts A. Migration and Disease in the Black Sea Region: Ottoman-Russian Relations in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries*. London: Bloomsbury Academic Press, 2017; *Urbansky S. Beyond the Steppe Frontier. A History of the Sino-Russian Border*. Princeton: Princeton University Press 2020 (рус. пер.: Урбански С. За степным фронтиром: История российско-китайской границы / Авториз. пер. с англ. М. Закирова. М.: Новое литературное обозрение, 2023).

18 *Etkind A. Internal Colonization: Russia's Imperial Experience*. Cambridge; Oxford: Polity Press, 2011 (рус. пер.: Эткинд А*. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / Пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013).

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

История России не уникальна; не уникальны и границы империи, какими бы сложными они ни были. Поскольку империи представляют собою древнюю и почти универсальную политическую форму, полезно помнить, что ни одна из них не может претендовать на абсолютную исключительность.

Это обсуждение напоминает мне прочитанную мною в аспирантуре увлекательную статью русско-американского историка Марка Раева, который задается вопросом, действительно ли «Российско-советская империя» представляет собою «такую же империю, как и другие». Раев ставит и пытается разрешить этот вопрос на протяжении более чем семи страниц, демонстрируя впечатляющую эрудицию и предлагая множество остроумных сопоставлений, но в итоге так и не приходит к простому ответу¹⁹.

В самом деле, сопоставлять империи — тяжелое испытание, ведь их история распространяется на огромное время и пространство. Как нам осмыслить все это? Задача не из простых. И действительно, большинство попыток предложить общее объяснение или теорию оказались тщетными.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Что касается публикаций недавних лет в области сравнительной истории империй, то откуда начать?

Есть множество отличных работ, хотя, пожалуй, наиболее впечатляющее по охвату материала исследование, которое я читал, это недавнее и очень актуальное описание постимперских проектов от Первой мировой войны до наших дней,данное Джейн Бёрбенк и Фредриком Купером²⁰. Впечатляющее исследование Рикарды Вульпиус, посвященное российским имперским практикам XVIII века, также предлагает множество убедительных сравнительных моментов, как и новое исследование Батшебы Демут о Беринговом проливе²¹. Если говорить о менее объемных исследованиях, то стоит отметить отличное краткое описание российской территориальной экспансии и вопроса о ее границах и их значении начиная с XII века, написанное Полом Вертом²².

Журнал «Регион: региональные исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии» (“Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia”) регулярно публикует ценные исследования по региональной истории. Я надеюсь, что новый журнал «ТERRITORIA: журнал исторических исследований», издающийся в Высшей школе экономики, также станет площадкой для новых исследований в этой области²³.

19 Raeff M. Un empire comme les autres? // Cahiers du monde russe et soviétique. 1989. Vol. 30. № 3/4. P. 321–327.

20 Post-Imperial Possibilities: Eurasia, Eurafrica, and Afroasia / Ed. by J. Burbank and F. Cooper. Princeton: Princeton University Press, 2023.

21 Vulpis V. Die Geburt des Russländischen Imperiums: Herrschaftskonzepte und Praktiken im 18. Jahrhundert. Cologne: Böhlau, 2020 (рус. пер.: Вульпиус Р. Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке / Пер. с нем. М. Богданович. М.: Новое литературное обозрение, 2023); Demuth B. Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait. New York: W.W. Norton & Company, 2019.

22 Werth P.W. How Russia Got Big: A Territorial History. London: Bloomsbury, 2025.

23 См. сайты этих журналов: Регион (<https://muse.jhu.edu/journal/585> (дата обращения: 06.04.2025)); ТERRITORIA (<https://www.hse.ru/trrh/journal> (дата обращения: 06.04.2025)).

Перспектива филолога/искусствоведа

Клавдия Смоля

(доктор наук, профессор Дрезденского университета (Германия),
заведующая кафедрой славянских литератур)

1. Почему современного исследователя может привлекать литература пограничья? В каких отношениях она оказывается интереснее или важнее, чем более привычный литературный канон?

Для меня литературы пограничья интересны тем, что особенно явственно отражают в себе характер имперской власти — ее национальную политику, обращение с этническими меньшинствами и степень ее толерантности. Эта ветвь исследований, пережившая невиданный бум после распада коммунизма, сегодня опять становится одной из самых актуальных: в свете политических событий последних лет в Восточной Европе (и не только там) гуманитарные науки просто уже не смогут развиваться вне этого поля, причем на новом культурном и географическом материале, который рождается и еще долго будет рождаться вследствие пре-ступления границ. Кроме того, эти литературы еще менее, чем раньше, смогут изучаться без знания других локальных языков, кроме русского.

В исторической перспективе нам все это, конечно, уже известно: популярность темы границ после перестройки, о которой я упомянула, была связана с переворотом в представлениях о «Другом» в обществах бывшего социализма. (Я уже писала об этом на страницах «НЛО»²⁴.) Если международная Ассоциация по изучению приграничных регионов (Association for Borderlands Studies) была основана уже в 1976 году с целью исследования территорий на границе США и Мексики (тема, которая самое позднее при Трампе обрела печальную актуальность: интересно, что в первый срок правления Трампа количество культурологических работ о феномене стены резко возросло), то в бывшем «восточном блоке» импульсом для развития теории пограничья стало падение Берлинской стены. Так, в Польше литература пограничья (literatura kresowa) стала полем дебатов о полоноцентризме, культурном колониализме и о регионах с утраченным в ходе советизации многоязычием. Но уже в 1980-е годы развернулась знаменитая дискуссия о Центральной Европе, объединившая таких интеллектуалов-эмигрантов, как Милан Кундера, Мило Дор, Данило Киш, Чеслав Милош, Дьёрдь Конрад и британского историка Тимоти Гартон-Эша. Этот пограничный регион, зажатый между двумя державами, они мифologизировали как некую навсегда ушедшую в прошлое Аркадию — место забытой мультикультурности, «западности» и духовной эманципации. Накануне коллапса империи миф Центральной Европы сливался с ностальгией по культурной географии Габсбургской монархии и высокой австрийской культуре рубежа веков. Без этой исторической дискуссии трудно представить себе таких

24 Калинин И., Смоля К. Империя постколониальных ситуаций: логики (холодной) войны — горизонты мира // Новое литературное обозрение. 2022. № 178 (6). С. 251—272.

писателей-«приграничников», как, например, Юрий Андрухович или Анджей Стасюк. Вообще, все, что начало процветать в гуманитарной академии после распада коммунизма, — интерес к открытым (со)обществам, индигенным группам, еврейским культурам Европы до Холокоста, постколониальной субъектности и прочее — было так или иначе связано со смещением фокуса внимания на явления пограничья. Тогда, например, концептуальные различия между понятиями “border”, “boundary” и “frontier” стали рассматриваться на множестве новых географических примеров (я, разумеется, не говорю о возникновении этих терминов: «тезис фронтира», например, был выдвинут американским историком Фредериком Тёрнером еще в 1890-х годах).

Литература окраин стала интересна и важна как свидетельство, с одной стороны, национального и этнического насилия, с другой — незамеченного до сих пор многообразия культурных форм, то есть противоположность мнимым отсталости и провинциализму. Для мейнстрима российских гуманитарных наук литература регионов Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока и Сибири стала вдруг видимой — в первую очередь как знак культурной агентности и не-прямого сопротивления центру. Оказалось, например, что, несмотря на ассимиляционную политику (и благодаря ей), коммунистическая империя породила формы плодотворного смешения, «третью пространства», пространства «между», если воспользоваться известной терминологией Хоми Баба. Литература периферийных и пограничных регионов говорила о том, что индивидуум мог быть включен в социальные и культурные связи, альтернативные по отношению как к западно-либеральным, так и коммунистическим ценностям, и способен делать (пусть и ограниченный) культурный выбор.

Надо еще отметить, что дебаты о деколонизации знания после февраля 2022 года — желание диверсифицировать как наши якобы универсальные культурные эпистемы, так и ограниченное, ориентированное на перспективу имперской власти понятие модерности — начались уже в литературах советского пограничья и дискурсах либеральной интеллигенции с периода оттепели. С одной стороны, термин (де)колонизации был частью языка советского истеблишмента, с другой — в 1960—1970-е годы им пользовались самые разные культуртрегеры в духе десталинизации и реабилитации депортированных народов (половецких немцев, крымских татар, чеченцев или ингушей). Как мне кажется, современным гуманитариям важно было бы иметь в виду эту генеалогию понятий и терминов, чтобы избежать исследовательского презентизма.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать литературу? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

Сегодня изучение литератур пограничья вливается в самые разные дисциплины и одновременно пользуется их методами и темами: это в разных сочетаниях культурная география, антропология, экология, гендерные исследования, история науки и др. В последние два-три десятилетия количество проектов и публикаций, исследующих гибридные и пограничные культуры бывших и настоящих империй, стремительно возросло. Сначала это произошло в ходе парадигматических сдвигов в самой науке литературоведения, когда на смену лингвистическому и интерпретативному поворотам где-то с середины 1980-х годов (на постсоветском пространстве позже: здесь очень долго в центре деба-

тов находились формализм и отечественная семиотика) пришли теории, переставшие отдавать предпочтение тексту как всеобъемлющему принципу объяснения реальности. Хотя без (де)конструктивизма с его теориями семантической границы и рамки, Фуко и Лиотара не было бы всего того, что пришло им на смену, тем не менее интеллектуальная конъюнктура повернулась в сторону материальности, прагматики, социума и внедискурсивного окружения, которые противились концепциям чистых разрезов. В XXI веке такие философские направления, как спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология, исследования антропоцена, акторно-сетевая теория и их многочисленные ответвления стали мощной подпиткой для литературоведения. Литературу, разумеется, не перестали изучать и преподавать как особый символический дискурс и «вторичную моделирующую систему», но она стала все больше восприниматься как лишь один из антропологических языков, привязанных к телесному, индивидуально обживаемому в определенном месте опыту и тесно сплетенный с другими языками (ср. концепцию «расположенных знаний» и политики близости Донны Харауэй²⁵). Если в 1990-е годы заниматься биографическим литературоведением стало неинтересно, а приписывать высказывания персонажей автору — вообще дурным тоном, то сейчас, уже на новом витке, этому автору возвращают его физическую оболочку, отнятую (пост)структураллистами, что обогащает, например, disability studies или queer studies в литературоведении. Теории материальности поставили под вопрос и усложнили аппарат лингвистических методов работы с понятием границы как «чистого» различия.

Литература пограничья как раз и стала особенно востребованной как рефлексия и одновременно результат эмпирически богатого и всегда неоднозначного антропологического опыта, взрывающего границы какого бы то ни было единого нарратива. Контаминированные идентичности, идиосинкразии этнического сосуществования, непрямолинейные процессы аккультурации — все это формы нарушения воображаемой монолитной структуры или доказательство, что таковой просто не существует. Так, например, каждый регион, этническая группа или культурная подгруппа по-разному реагировали на советизацию, развивали свои формы компромисса и промежуточности, в том числе в литературе соцреализма. Все это сейчас активно изучают советологи на разных континентах, причем многие из них приводят работы теоретиков деколониализма, таких, например, как нигерийский искусствовед Окви Энвезор. Говоря о разных типах присвоения современности, Энвезор писал о преобразовании модерности в специфические местные варианты в Китае и Южной Корее, о своего рода «цитате» Европы в Азии²⁶.

Отдельная тема — это как литературы пограничья российской, а потом и советской империй стали в последние лет двадцать приоритетным предметом постколониальных исследований. Это было совсем не случайно: постколониальная теория 1990-х родилась как раз из духа литературоведения, будучи амальгамой лингвистически-(де)конструктивистских и лево-марксистских идей, в том числе британских cultural studies. Язык, текст и дискурс находились

²⁵ Haraway D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // Feminist Studies. 1988. Vol. 14. No. 3. P. 575–599.

²⁶ Enwezor O. Modernity and Postcolonial Ambivalence // The South Atlantic Quarterly. 2010. Vol. 109. No. 3. P. 596.

в центре внимания второго и, может быть, самого влиятельного поколения теоретиков постколониализма (Баба, Спивак). Дебаты о деколонизации языка, проблемах репрезентации расы и гендера и символической власти развивались именно вокруг литературных текстов. Именно здесь появился термин “writing back” («ответного письма»): как утверждают Билл Эшкрофт, Гарет Гриффитс и Хелен Тиффин²⁷, акт колонизации становится видим в самом акте создания текста на языке «импортированной», присвоенной культуры. Это очень важный момент в изучении бывших советских литератур. Я несколько лет занимаюсь младописьменными литературами Сибири, и на их материале особенно хорошо видно, как коренные северные писатели (эвенки, чукчи, ненцы и другие), закончив университеты в Москве или Ленинграде и впитав образцы литературы русских беллетристов и этнографов, воспроизводили, с одной стороны, имевшиеся стилистические матрицы, с другой же — «изобретали» взгляд на себя как одновременно на своего и на чужого/другого. Они сумели создать очень интересную и еще мало изученную литературу промежутка.

3. Есть ли какое-то своеобразие у литературы приграничных регионов Российской империи и Советского Союза по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение литературной ситуации разных регионов?

Нерусофонные литературы обеих названных в вопросе империй являли все признаки так называемых дефисных литератур, в последние десятилетия активно изучающихся на примере миноритарных, пограничных и постколониальных текстов в Америке, Испании или Франции: это стилистическая и жанровая гибридность, би- или поликультурность и часто техники подспудного сопротивления или компромиссов — одним словом, перформативные свидетельства сосуществования с русско-советским мейнстримом. Однако, например, советскую многонациональную литературу еще почти не изучали в свете мультилингвальных практик и стратегий адаптации, далеких как от прямого эстетического диссидентства, так и от прямого подражательства. С другой стороны, в советских региональных литературах было много того, что в последние десятилетия интересует ученых разных континентов в литературе глобальных мигрантов и диаспор. Лишь в последнее время появляются статьи, в которых сравниваются поэтики коренных авторов разных geopolитических сфер. Так, Леонид Чекин разбирает произведения, написанные в 1960-е и 1970-е годы на инуктитуте в Канаде, на калааллисите в Гренландии и на науканском диалекте на советской Чукотке, сравнивая, между прочим, Маакуси и Зою Ненлюмкину²⁸.

Сопоставительное изучение литературной ситуации в разных странах важно, как это ни банально звучит, для того, чтобы выйти за пределы своего geopolитического пузыря (тоже проблема эпистемологических границ). Например, во имя той же деколонизации угнетенных народов, но только советского производства, в республиках СССР были созданы многочисленные транснациональные и межкультурные связи с «третьим миром», которые сейчас ак-

²⁷ Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*. London: Routledge, 1989.

²⁸ Чекин Л.С. Инуитская литература, постколониальная критика и проблемы переведимости // Новое литературное обозрение. 2020. № 166 (6). С. 114–142.

тивно изучают как «красную» глобализацию. Это очень повлияло на то, как дискурс глобализации разворачивался на постсоветских территориях и как он соединялся с западными глобальными альянсами. В период перестройки и в 1990-е годы именно региональные писатели с их поликультурностью и двуязычием (не только Айтматов, их было несколько десятков) стали политиками с серьезным влиянием на международные отношения. Например, коренные писатели Сибири стали объединяться с американско-индейскими авторами для создания организаций по защите окружающей среды. Изучение всех этих фактов способствует перекартированию наших представлений о зонах культурной коммуникации и (не)проницаемости границ. Я сейчас работаю над книгой о том, какую роль советские национальные литераторы играли в создании концепций паназиатских, пантюркских или панарктических союзов начиная с периода перестройки, и здесь очень интересно не только сопоставить ситуации по разные стороны геополитических границ, но и показать, как писатели разных регионов глобального пограничья создавали сети сотрудничества и искали общий язык вне культур центра своих стран.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Отчасти я, наверное, уже ответила на этот вопрос. Если кратко, то я думаю, что будущее принадлежит исследователям с двумя, тремя и больше региональными экспертизами; что исследованиям пограничных регионов будет как никогда необходимо расширение географических и геополитических горизонтов и что одна из основных задач нашего и следующего поколений гуманитариев будет связать информационные поля и аналитические габитусы, с одной стороны, региональных исследователей, обладающих очень небольшим символическим и экономическим капиталом, с другой — влиятельных западных экспертов, установив более симметричные и плоралистичные отношения в академии.

Мария Чернышева

(кандидат искусствоведения, независимый исследователь)

1. Почему современного исследователя могут привлекать художественные практики пограничья? В каких отношениях они оказываются интереснее или важнее, чем более привычный художественный канон?

Я отвечу на вопросы, опираясь на свой опыт визуальных исследований, связанных с Туркестанским генерал-губернаторством и Царством Польским. Принципиальные различия между этими окраинными территориями Российской империи включали в себя не только их географическую и культурную дистанцированность друг от друга, но и характер их отношений с имперским центром, которые в случае Царства Польского нельзя определять как взаимодействие между метрополией и колонией. В целом, изобразительность, порождаемая пограничьем и/или направленная на него из имперского центра, всег-

да содержит важный материал для изучения культурной идентичности центра. Пограничье сохраняет актуальность в рамках постсоветской волны исследований империи и национализма.

Русский Туркестан в изобразительном контексте XIX века ассоциируется прежде всего со знаменитой Туркестанской серией Василия Верещагина. Обращение художника в рамках колониальной стратегии к репрезентации «отсталого» региона не только послужило вписыванию этого региона в современную «цивилизованную» картину мира, но стало сильной модернизирующими стимулом для самой «цивилизующей» стороны. Недавно завоеванный «отсталый» край сыграл прогрессивную роль как свободное поле для культурных инноваций, в чем-то более благоприятное, чем метрополия. Верещагин приобрел беспрецедентную популярность в России и на какое-то время стал самым известным русским художником в Европе благодаря Туркестанской серии. Она была создана отчасти по образцам модных ориентальных картин его парижского учителя Жана-Леона Жерома, экспонирована и репродуцирована на новейшем технологическом уровне при поддержке культурных и политических амбиций, а также казенных ресурсов генерала Константина фон Кауфмана, первого губернатора Туркестана, с которым Верещагина связывали неформальные отношения соратников. Верещагин не просто выполнял государственный заказ, с Туркестана началась его репутация публичной фигуры и предпринимателя от искусства, которая была внове для русских художников. Туркестанское сотрудничество Верещагина с Кауфманом ускорило внедрение в России новых стандартов визуальных практик и художественного рынка. Хотя в какой-то степени это было результатом удачного стечения обстоятельств.

Что касается польских земель, то разделы Речи Посполитой в конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией обернулись для польской нации более чем вековым испытанием погранично-трансграничного существования. Польскую культуру XIX века трудно исследовать, не учитывая фактор пограничья/трансграничья. Если же смотреть на ситуацию с российской стороны, то очевидно следующее. В то время как отношения имперского центра, например, к среднеазиатскому региону строились на презумпции российского военного и цивилизационного превосходства, отношения к Царству Польскому — на основаниях военного превосходства и культурного соперничества. Соперничество питается допущением, пусть и подспудным, относительной близости и равенства сторон. Для имперского центра вызовом были не только культурные отличия поляков от русских (сопровождающиеся немалым взаимным сходством), но западная ориентированность и сама развитость их национального самосознания. Туркестан предоставлял имперскому центру материал для самоопределения в сравнении с «другим-далеким», Царство Польское — в сравнении с «другим-близким». Было бы интересно сопоставить эти два имперских профиля: один, обращенный к южной периферии, другой — к западной.

Польские живописцы раньше русских сделали ставку на Париж как художественную столицу Европы. Но более важна была их открытость культурной жизни и публичной сфере за пределами узкой профессиональной повестки (в чем тоже было чему поучиться у французов), выраженность в их творчестве гражданского чувства, которое при отсутствии польской государственности проявлялось как ответственность за судьбу нации. Русские художники долгое время оставались корпоративно (если не сказать ремесленно) очень замкнуты. Иными словами, русское изобразительное искусство позже, чем польское, и

позже, чем русская литература, обрело «право гражданства». Собственно, первые заметные шаги в этом направлении оно совершило в эпоху Верещагина и во многом благодаря ему. И не лишен парадоксальности тот факт, что художник, прошедший творческую инициацию в Средней Азии, чрезвычайно способствовал сближению русского искусства с мейнстримом в культуре Запада.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать художественные практики приграничья? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

С рубежа ХХ–XXI веков репрезентация Востока в Европе второй половины XIX столетия стала предметом комплексных и плодотворных визуальных исследований. Сначала на французском и британском материале, чуть позже на российском было многосторонне раскрыто значение этнографических коллекций и выставок, а также ранних этнографических, туристических и пропагандистских фотографий восточных стран и европейских колоний в культуре ориентализма в целом и для ориентальной живописи в частности; было показано, насколько заметен вклад колониальных репрезентаций в развитие новых форм европейской зрелищности, а также насколько существенна роль новых визуальных механизмов в колониальной политике.

Примерно тогда же началось активное изучение Туркестанской серии Верещагина как проекта не только художественного, но и политического, что в советское время было невозможно по идеологическим причинам. Постколониальные и постсоветские исследования Центральной Азии, российского колониализма, проблематики империализма и национализма сформировали серьезную фактологическую и концептуальную базу для анализа российской колониальной изобразительности в этом ключе.

Вместе с тем ориентальную живопись небесполезно изучать как художественный жанр с его эпохальными и национальными вариациям. Не стоит забывать, что она так же, как, например, ориентальные формы в архитектуре, существует хотя и внутри широкого явления ориентализма, но отчасти по собственным правилам. Разумеется, ориентальная живопись и архитектура могут как быть, так и не быть связаны с колониальными реалиями, например российской Средней Азии. И наоборот, не все туркестанские картины Верещагина могут рассматриваться как образцы ориентальной живописи. Историки, этнографы, антропологи, искусствоведы продолжают рассуждать об особенностях и по европейским меркам нетипичности русского ориентализма. Но и его феномен в целом и, скажем, традиция неомавританского стиля в архитектуре – это нечто более весомое и бесспорное в российской истории, чем довольно эфемерная и сомнительная местная традиция ориентальной живописи. И это положение дел достойно, пожалуй, большего внимания, чем ему до сих пор уделяли.

При исследовании изобразительного и, шире, визуального материала, связанного с российским колониальным пограничью, очень важно не упускать из вида общеевропейский имперский контекст; компаративному рассмотрению здесь подлежат как идеологические, политические и географические модели колониализма, так и порождаемые ими репрезентации.

Компаративистский подход важен и при изучении визуальной культуры Царства Польского, главного российского «окна на Запад». В XIX веке панъ-

европейские тренды в национальных художественных школах Европы, включая Россию, были очень сильны. Польская и русская живопись имели много общего, и тем перспективнее сопоставление польского и русского искусства для выявления не лежащих на поверхности, но значимых различий. Это помогает нам лучше понять несовпадения в культурных приоритетах обеих наций.

Особым предметом исследования является польский национализм как лишенный в XIX столетии суверенного государственного фундамента и поддержки и тем не менее (или тем более?) обладающий силой и оформленностью, в том числе визуальной. Учитывая, что презентация польской национальной идентичности не приветствовалась имперскими властями, отдельный интерес вызывают те средства, приемы и формы, которые польские художники использовали для успешного решения этой задачи.

3. Есть ли какое-то своеобразие у художественных практик приграничных регионов Российской империи по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение художественной ситуации разных регионов?

Выше было упомянуто, что в русском искусстве ориентальная живопись не оставила заметного следа, в то время как во Франции и Великобритании XIX века она переживала расцвет. Сопоставление ориентальных картин Верещагина и его французского учителя Жерома высвечивает два главных различия между ними. Прежде всего в Туркестанской серии Верещагина, даже когда он изображал мужское поклонение хорошенъкому мальчику-танцору или демонстрацию покупателю раздетого невольника, отсутствовал тот эротизм, который обеспечивается не только сюжетом, но и его трактовкой и который наполнял английскую и особенно французскую ориентальную живопись. Специфика туркестанских работ Верещагина связана также с типом показываемого в них насилия. В западноевропейской ориентальной живописи были не принятые сцены торжествующего и символически закрепляемого насилия туземцев над европейцами. Французские художники-ориенталисты изображали обезглавливание как практику внутри этнических групп Востока, а Верещагин не раз изображал глумление туземцев над отсеченными головами русских солдат.

Другое дело, что Восток, которым широко вдохновлялись западные художники, далеко не всегда был колониальным и всегда был заморским, если не считать старые мусульманские памятники Гранады. Колониальные владения Французской и Британской империй нельзя назвать их приграничьям в том смысле, в каком приграничьям Российской империи являлся Туркестан.

В случае с Польшей XIX века речь скорее должна идти о едином своеобразии польских земель как окраин разных государств. Кроме того, польская визуальная культура не позволяет говорить о качественном доминировании имперского центра над периферией. Выше уже было замечено, что изобразительная продукция Варшавы, с одной стороны, и Петербурга с Москвой — с другой, более или менее равно вписывалась в общеевропейские тренды. Но статус художника и роль искусства в Царстве Польском были в течение какого-то времени более значимы и в большей степени отвечали современным европейским нормам, чем в России. Если же бросить взгляд за пределы Российской империи, мы увидим, что в Австрии второй половины XIX века самым талантливым живописцем был уроженец и житель Кракова Ян Матейко, превосход-

дивший лучшего венского мастера Ганса Макарта. В свою очередь, в Кракове, и когда он оставался Больным городом, и после того, как его аннексировала Австрия, художественная жизнь была свободней, чем в Варшаве.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Среди тех визуальных исследований русского ориентализма, в фокусе которых сохраняется сама проблема пограничья, надо назвать коллективную монографию «Фотографируя Центральную Азию...»²⁹. Она существенно дополняет наше представление о составе, характере и динамике выстраиваемого образа Центральной Азии и сквозь призму этого материала стремится переосмыслить возможности фотографии как медиа не только фиксирующего, но и конструирующего реальность, политическую, социальную, культурную. В концептуальном и методологическом аспекте с этой книгой перекликается коллективная монография, готовящаяся на основе конференции «Визуальная история завоевания Туркестана...»³⁰. Замысел конференции родился из наблюдения, что изображений именно завоевания Туркестана царской армией известно крайне мало, и эта ситуация контрастирует с тем, как другие крупнейшие державы освещали свои колониальные кампании. Книга должна будет ответить на вопросы, как можно объяснить этот дефицит визуальных свидетельств и как в немногих имеющихся рассказов о завоевании варьируется в зависимости от разных используемых техник, изобразительных и фотографической.

Для меня актуальным остается вопрос: при каких условиях и в каких случаях европеизирующие имперские репрезентации Туркестана могут быть признаны независимыми от колониальной предвзятости? Всегда ли европеизация, как и экзотизация образа колоний, была подчинена потребностям и оптике колониализма? Многие постколониальные исследования эксплицитно или имплицитно отвечают на этот вопрос утвердительно, что упрощает картину функционирования культуры.

Культура Царства Польского в его взаимодействии с имперским центром изучена историками гораздо лучше, чем искусствоведами и специалистами в области визуальности. Освещены различные аспекты российско-польских художественных контактов на примере биографий некоторых польских художников и архитекторов, включая такие эпизоды карьер, как обучение в Императорской Академии художеств, участие в петербургских и московских выставках или выполнение российских частных и государственных заказов. Что касается художественной проблематики, искусство Царства Польского рассматривается в едином русле польского искусства, творчество отдельных польских мастеров — также в едином русле русского искусства. Мало разработанным и перспективным направлением исследований остается выявление различий в национальных приоритетах через сопоставление польской и русской изобра-

- 29 Photographing Central Asia: From the Periphery of the Russian Empire to Global Presence / Ed. by S. Gorshenina, S. Abashin, B. De Cordier, and T. Saburova. Berlin: De Gruyter, 2022. Книга охватывает как имперский, так и советский и постсоветский периоды.
- 30 Histoire visuelle de la conquête du Turkestan par l'empire russe, 1860–1900: témoignages, représentations, commémorations, décolonisation. Paris, Institut d'études slaves, 10–11 oct. 2022.

зительных практик при их тесном сосуществовании и переплетении в рамках общих имперских границ XIX века. В этом направлении я постаралась продвинуться в своей недавней книге, сосредоточенной на исторической тематике русской и польской живописи XIX столетия³¹. Я показываю, что в культуре этого времени панъевропейская тенденция, которую я называю феминизацией истории, затронула польское искусство в большей степени, чем русское.

Как упоминалось выше, польская национальная авторепрезентация, вынужденная в Российской империи обходить цензуру, была ярким и сложным явлением. Хотя она хорошо изучена, как и та важная роль, которую в ней играли женские образы, неиссякаемый интерес исследователей к этому предмету понятен и оправдан. Из последних публикаций обращает на себя внимание статья, касающаяся деятельности в Париже поляков, эмигрировавших из России после Ноябрьского восстания за национальную независимость³². Речь идет о совокупности издательских стратегий и технических приемов, позволяющих через тексты и изображения поддерживать в соотечественниках — и в тех, которые покинули родину и были рассеяны по миру, и в тех, которые остались ограниченными в праве национальной публичности на родной земле, — приватную связь с нацией.

Из частностей мне было бы любопытно увидеть новые подтверждения или опровержения того, что Василий Верещагин был российским военным агентом, а также узнать, за какие заслуги и при каких обстоятельствах Войцех Герсон, главный модератор художественной жизни в Царстве Польском, был награжден имперскими властями медалью за участие в подавлении Январского восстания в Польше.

Елизавета Чуприкова-Крынская

(Ассоциация искусствоведов (AIC))

1. Почему современного исследователя может привлекать литература/изобразительное искусство пограничья? В каких отношениях они оказываются интереснее или важнее, чем более привычный литературный канон?

Литература и изобразительное искусство, связанные с границами как бывшей Российской империи, так и современной России, до сих пор могут привлекать своей нетривиальной экзотической составляющей — по крайней мере, на первом этапе исследования. Но и сугубо этнографический интерес в наши дни, на мой взгляд, не самодостаточен и не может быть следствием простого стремления узнать больше, например, о бытовой стороне жизни как народов-соседей, так и, скажем, народов азиатской части нашей страны. Скорее всего, этот интерес будет подкрепляться концепцией/дискурсом о феномене культурного Другого, в кото-

31 Чернышева М. Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

32 Young T. Picturing Novembrists in Paris: Gender and Diasporic Politics in Józef Straszewicz's "Historical Gallery of Contemporary Poland," c. 1832–1837 // The Polish Review. 2024. Vol. 69. No. 2. С. 5–35.

рый можно погружаться по принципу ближайшего соседства наций или даже по принципу разделения по частям света. Тем не менее на интерес к теме в целом в современном российском обществе указывает, на мой взгляд, такой пример из области книгоиздания: в 2019 и 2024 годах был опубликован роман о колониальном прошлом империи «На далеких окраинах» (во втором издании совместно с романом «Погоня за наживой») художника-путешественника Николая Николаевича Каразина (1842—1908), а полное собрание его сочинений насчитывает двадцать томов! Есть и другие примеры, например, парадная по своему оформлению серия «Великие путешествия» издательства «Эксмо», где можно познакомиться с трудами таких российских путешественников и ученых, чье исследовательское направление было связано с территорией Центральной Азии, как Петр Семёнов-Тян-Шанский, Иван Мушкетов, Владимир Обручев; художник Василий Верещагин. Однако стоит отметить, что все указанные издания неизменно дороги и периодически исчезают из широкой продажи. И стоит еще отметить, что после этого поколения в советский период фокус внимания сместился в сторону формирования местных интеллектуальных национальных сил: можно здесь вспомнить таких известных литераторов и ученых-филологов, как Садриддин Айни из Таджикистана, Сильва Капутикан из Армении — чьи произведения и исследования неизменно затрагивали вопросы национальной идентичности.

В «Литературной энциклопедии» под редакцией А. В. Луначарского (1931) Николай Каразин был назван, среди писателей прошлого, одним из немногих ярких представителей колониального романа. Несмотря на идеологический налет формулировки, к прозе, живописи и графике Каразина однозначно стоит присмотреться как ради экзотики, так и аккуратной этнографической фиксации.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать соответствующую литературу/искусство? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

Исследователи, подбирая литературу, будут действовать из сообразности своей специальности и теме, работая в архивах, библиотеках, музеях пространствах и собраниях и привлекая огромное поле материалов, от источников — прижизненных изданий, публикаций в периодике, дневников и так далее — до самой новой литературы, диссертаций, монографий, переизданий воспоминаний современников исследуемых событий. Если исследование связано с маршрутом того или иного путешествия, придется, скорее всего, не раз открывать Google Карты.

Удивительно, но труды вышеназванных авторов второй половины XIX века продолжают иметь огромное значение для науки и культуры. Так, в 2024 году члены Русского географического общества (РГО) — палеосейсмологи, географы, геологи, археологи — повторили часть пути Петра Семёнова-Тянь-Шанского по Центральной Азии: проект планируют довести до 2027 года, года двухсотлетнего юбилея ученого. Использовался комплексный метод исследования, согласно «философии меняющегося мира» последнего.

3. Есть ли какое-то своеобразие у литературы/искусства приграничных регионов Российской империи и Советского Союза по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение литературной и художественной ситуации разных регионов?

Безусловно, сопоставительное изучение литературной ситуации разных стран, а также аспектов изобразительного искусства, связанных с приграничными территориями, единственно верный путь увидеть законченную картину. В этом контексте крайне выразителен феномен художника и писателя Николая Каразина — он один из немногих российских беллетристов, пишущих о народах, у которых к тому времени еще не было своей светской формы литературы; его первый роман «На далеких окраинах» публиковался в журнале «Дело» в 1872 году. И нельзя не сопоставить этот опыт с немецкой и французской литературами. Говоря о живописи, мы не можем не вспомнить художников, путешествующих по Северной Африке: Эжена Делакруа, Теодора Шассерио, Эжена Фромантена. Это большой и плодотворный разговор и ретроспектива.

Что же до статей-заметок Каразина по результатам научных экспедиций в Западный Туркестан, опубликованных в популярных журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация» в сопровождении примеров эффектной графики (гравюр, созданных по рисункам и акварелям автора), то они наследуют дискурсу литературно-художественной фиксации “voyage pittoresque” / «живописное путешествие», который в западноевропейской истории искусства традиционно связывают со второй половиной XVIII — первой половиной XIX веков.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Независимо от темы исследования, важно, мне кажется, обращаться к исследованиям Новейшего времени, чтобы изучить историю взаимодействия Востока и Запада как двух культурно-политических конструктов. И регион Центральной Азии, безусловно, является, пользуясь словами посла Ирана в Турции Алирезы Бигдели, «одним из главных центров культуры Востока», «символом Шелкового пути и точкой пересечения цивилизаций»³³; находится в ракурсе моей научной работы о графических циклах Николая Каразина. С этой позиции я бы рекомендовала познакомиться со следующими ключевыми, на мой взгляд, трудами в хронологической последовательности их первоизданий: во-первых, это терминологически определяющий «Ориентализм» литературоведа и филолога Эдварда Вади Саида (1978; на русском 2016, 2021 и 2023), из книг «Нового литературного обозрения» — это «“Собственный Восток России”. Политика идентичности и востоковедения в позднеимперский и раннесоветский период» Веры Тольц (2013), где рассматривается восприятие Востока в России Серебряного века с позиции деятельности специфической группы ученых-востоковедов из Санкт-Петербурга, и книга Светланы Горшениной «Изобретение концепта Средней/Центральной Азии: между наукой и geopolитикой» (русский перевод 2019, часть исследования 2014 года на французском языке), предлагающая к рассмотрению историю выработки этого концепта в рамках неумолкающих дебатов о правильном наименовании и границах региона.

33 Бигдели А. Центральная Азия: пути развития // Актуальные проблемы Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции: «Центральная Азия и Россия: перспективы взаимовыгодного сотрудничества» (Москва, 16 октября 2019 г.). М.: Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции), 2020.